

Екимов Борис "Мальчик на велосипеде"

Категория: [Книжная полка](#)

Утренний автобус на Большую Головку давно ушел, до вечернего было далеко; а тащиться к грейдеру, на попутку, с чемоданом да объемистой сумкой не хотелось. Оставалось одно — ждать. Стекланный теремок автовокзала лежал на отшибе от станции, считай, посреди степи. Июльский солнечный день наливался жаром, в тесном зальчике становилось душно, и выбирался народ на волю, на ветерок, располагаясь под навесами и в соседней лесополосе, под сенью пыльных вязов. Хурдин ожиданием не томился. Он не был на родине целых пять лет, а последние три года и вовсе за границей работал, и потому теперь все казалось ему таким милым для души: степь и горячий тугой ветер, просторное небо с его чистой синью, и люди вокруг, их голоса и речи, от которых отвык, а теперь слушал с жадностью. Людно было на вокзале и говорливо. Хурдин бродил и бродил, бродил и людей разглядывал, останавливался, слушал.

— Ты со своей папиросой, как грех с душой, не расстанешься. Другая бабка Надюрка. Та оденет чистый платок, сигарку завернет в локоть — и гайда в контору, — прилюдно выговаривала своему мужику могучая рукастая баба. А рядом сухонькая старушка изливала свою беду: — Изболелась внучарка моя, такая господня страсть. С лица спала, желтая, как стена, и все тело красными товрами пошло. Бывало, дишканит, по всему хутору слышать, а теперь чуть

плачет. Под кустами, за вокзалом, гармошка пиликала, и голос старательно выводил припевки:

Моя	милка	чернобровая,
Канафеты	есть	здорова!

Темные	лица,	кипенно-белые	платки,	лопатистые	корявые	руки.
--------	-------	---------------	---------	------------	---------	-------

Не	вари	кашу	крутую,	вари	жиденькую,
Не	люби	девку	сухую,	люби	сытенькую.

Старые женщины были чем-то похожи на мать. Может быть, просто годами. Вспомнив о матери, Хурдин сразу же забеспокоился и невольно поглядел в ту сторону, где лежал его хутор и где мать ждала. О своем приезде он не писал, но мать должна была почуять. Она всегда угадывала наперед. Да и знала она, что сын возвращается и, конечно, приедет.

На хуторе, в родном доме, Хурдин не был пять лет. В последний раз он гостил там зимой, на крещение. Холодно было на дворе и в дому. Хурдин уже привык к иному и мерз. Мерзли ноги от ледяных полов, по ночам зябко было спать, он чувствовал, что простывает. Мать топила днем и ночью, дров не жалела, но дуло из-под пола, и окна тепла не держали.

— Гляди ты какой стал, прям блин пашаничный... — говорила мать. — А мы, бывало, вот молодые-то были, в старом дому, утром встанешь, а ведрушка с водой замерзла. А ныне чего...

Хурдин четыре дня лишь выдержал, отговорился делами и уехал. Потом он жалел. Конечно, нужно было потерпеть. Потерпеть и пожить. И ничего бы не случилось. Но разве предполагал он в ту пору, что не увидится с матерью целых пять лет.

Гармонист	в	лесополосе	припевал	и	припевал:
-----------	---	------------	----------	---	-----------

Милый	мой	Игнат	Кривой,
Правый		глаз	шатается.
Давай		выколем	другой,
Он		табе	мешается.

Игнат Кривой в свое время был личностью знаменитой. Он объезжал хутора, собирал тряпье и кости, и взамен одаривал ребятню свистульками и рыболовными крючками, баб — пудрой да мазью, «жировкой» для белизны лица. В те послевоенные годы Игнат, несмотря на стеклянный глаз, был завидным кавалером и любил погулять. И потому его всегда ждали и встречали с радостью. Вспоминая те давние годы, Хурдин забылся, и потому не сразу вернул его к яви чей-то голос.

— Хурдин! Хурдин! Ты не оглох часом?! Иван Ломтев, школьный товарищ из Вихляевки, звал его и дозваться не мог. Был Ломтев на машине и ехал домой. Хурдин погрузил в багажник свою поклажу, уселся рядом с Иваном; и покатили они сначала асфальтом, а потом добрым грейдером, мимо Первой Березовки и Второй, к дому. С Ломтевым после школы встречались редко, и потому поговорить было о чем: о прошлом, о школьных друзьях, их судьбах. Доехали незаметно. И нужно было сворачивать с грейдера за дубовским мостом, а Иван проскочил дальше.

— Ты куда? — не понял Хурдин.
— Там дорога плохая. Козинкой объеду.

Прошла Малая Дубовка, и малголовское кладбище открылось. Сам хутор Малголовский пропал давно, и теперь лишь одичавшие терны и груши-дулины указывали место. А кладбище было целым. Светили кресты и памятники свежей краскою, венками и разноцветной пестрядью ленточек: на пасху украшали яркими тряпочками ветки и ставили их на могилах.

— Живое кладбище... — удивился Хурдин.

— Хоронят, — ответил Иван. — Старики умирают, приказывают там хоронить, вот и хоронят. Да и родные у кого лежат. Не бросишь. Через Козинку — зеленую падь, в которой всегда сено косили, выехали к вихляевскому пруду, а от него через поле и вниз. Пшеница уже поднялась высоко и колосилась, и машина бежала по узкой дороге куропаткою, чуть не прячась. На взлобье хлеб пошел жиже, и открылся впереди хутор, а справа Ильмень и займище. Машина понеслась вниз, и засвистел воздух. И мчалась навстречу земля, и зелень, и сирень цветов, и синь неба — все летело навстречу, и сердце замирало в сладком обмороке.

— На велосипедах, помнишь, здесь?.. — спросил Иван потом, внизу.

— Помню... — выдохнул Хурдин и удивился, сколь одинакова у всех память. Ему-то казалось, что только он да Виктор помнят этот бешеный лет с Вихляевской горы, на велосипеде в детстве. Когда мчишься, и захватывает дух, и кажется, вот-вот взлетишь. В последнее время Хурдин часто вспоминал о Вихляевской горе, о велосипеде; и, думая о поездке к матери, загадывал починить старый велосипедишко и съездить на Вихляевскую гору.

До самого дома больше не обмолвились словом. И чем ближе подъезжали, тем острее понимал Хурдин, какими долгими были эти пять лет разлуки. Такими долгими... И в какое-то мгновение вдруг показалось: матери уже нет, она умерла, а ему просто не сказали. Да, вдруг почудилось такое.

Мама была жива. На гул и сигнал машины, на голоса она отворила воротца и вышла. Вышла и кинулась к сыну.

— Привел господь, привел... Сохранил и привел... живого... — беспamięтно бормотала она.

— Господи... Какую я игу снесла. Уехал и матери сердцу вынул... — бормотала мать,

пригибая к себе и ощупывая сыновью голову, плечи, лицо оглаживая, волосы, лаская и словно проверяя, все ли при нем. И, поняв, поверив, что живой перед ней сынок и целый, она ослабела, и разом, одним разом хлынули так долго копленные слезы. Мать уже не могла говорить, она лишь в иступление колотилась легкой седой головой о сыновью грудь. Хурдин тоже плакал. Молча, глотая слезы, он плакал и ждал, когда мать успокоится. Давно уехала машина, вещи стояли во дворе, а мать все не могла поверить. — Какой год во слезах ничего не вижу... Все об тебе да об тебе. Войны боюсь. Телевизор кажеденно гляжу, а там все недоброе гутарят: война да война. А у меня об вас сердце кровит. Начнется — и враз тебя... Мы спасемся да и помрем так возля друг дружки, а мое дите вдале, одна-одиная... Сделалась бы гулюшкой и полетела... Хурдин слушал и все более понимал, что пять лет — такой долгий срок, бесконечный. Пять лет — это почти десятая часть всей жизни, а если в силе и разуме взрослого бытия ее брать, то вдвое больше. А для разлуки и вовсе не мереный срок, бесконечный. Ведь, сколько помнил себя Хурдин, всегда он был перед матерью мальчонкой, даже взрослым уже. А теперь сидел возле нее большой, широкоплечий, а мать малым воробушком жалась к нему. И, обнимая мать, чувал он птичьи ее косточки и легкую плоть. Да что там мать, когда даже хата начинала в землю уходить. Хурдин рассказывал о жене и детях, слушал материнскую повесть о хуторской родне. В округе лишь родных братьев да сестер было четверо, теток и дядьев столько же, а уж двоюродные — самосевом росли. И все жили неплохо, грех жаловаться. И не единожды звали мать к себе средний сын Василий, дочь Раиса. Но мать жила одна. И как когда-то, при покойном отце и большой семье, держала корову, коз, птицу, кабана выкармливала. Мать хозяйством гордилась и потому очень довольна была, когда Хурдин сказал: — Пойдем поглядим, как ты тут хозяйнуешь. Либо одни мыши на базу? — Да чего, сынок, глядеть,— с притворной скромностью ответила мать. — Бабы руки одни. Да и скотина вся на попасе. Но поднялась она с охотою и с гордостью показала новый большой катух под шиферной крышей, где помещалась корова, козы и поросенку место нашлось. — Триста рублей, золотая копеечка... Да спасибо еще ребятам, приехали, поставили. В один день... А как же, сынок, без катуха? Старые катухи, которые ставил еще отец, плетневые, мазанные, на дубовых рассохах, старые катухи уже свое отжили. Крыша на них там и здесь провалилась, пьяно хилились стены, и теперь лишь ласточки стремительно ныряли в черные проемы дверей. — Ломать надо, — вздохнула мать. — Рук не хватает. Сломать да поставить бы тута дровник. Под белым небом дрова лежат и уголь. А надо бы... — Ничего тебе, мать, не надо,— засмеялся Хурдин,— Бросить тебе все да поселиться на покой. Ко мне бы поехала. — Нет,— серьезно ответила магь. — Отца не кину. При нем помирать буду. — Ну, к Василию иди, к Раисе. — Не в силах, — сказала мать. — Себя едва обрабатываю, а тама хозяйство, детвора. Таковую игу поднять. Годы не те... Да к Раисе я и не пойду. Иван хоть и неплохой зять, да старые люди как говорят: с сынком бранись — за печку держись, с зятьком бранись — за дверь держись. А это правда, истинная. Хурдин посмеялся и сказал: — Так-то оно так. Но не этого ты, мать, боишься. Ты хочешь всю жизнь хозяйкой быть. Я — хозяйка... — передразнил он ее. — А чего ж... — приосанилась мать. — Взаправди, здесь — хозяйка, чего хочу... А тама... — махнула она рукой. — Вот то-то и оно... — снова рассмеялся Хурдин и добавил серьезно: — Ты бы хоть корову, что ль, перевела. С козами да птицей полегче. — Переводила, сынок. Не от добра, а переводила. Я ж болела, чуть не померла. Тебе уж не

сообщали. Месяц в больнице провела. Кто же с коровкой?.. Сдали ее. А очунелася, пришла и без коровки слезьми закричала. Невозможно жить в попросях. Спасибо Василий помог добыть. И неплохая коровка, все при ней... Разговоры текли бесконечные. И не могла мать от сына оторваться, хотя, позвякивая подойниками, бежали бабы на стойло коров доить и окликали, звали ее. И она наконец сдалась.

— Сиди не сиди, а никто не подоит, — вздохнула она. — Пойди койку разбери да ложись отдохни.

— Чего отдыхать, — ответил Хурдин. — Пройдусь, погляжу на хутор.

— Пройдись, погляди, и на тебя люди поглядят, — довольная, ответила мать.

— Может, в магазин зайти, взять? Вечером, наверно, придут? — спросил Хурдин, разумея хуторскую родню.

— Туча черная налетит, — ответила мать. — Как же, на тебя поглядеть. У меня самогонка есть. Но ты возьми в магазине две бутылки русской, на стол поставить. Боле не бери, не траться. Нехай самогон пьют, он хороший, аж горит. Хлеба возьми, если привезли. Из ворот они вышли вместе и пошли улицей. Но недолго. Дед Архип стоял у колонки с полными ведрами и, поджидая нового человека, скручивал сигарку.

— Я побегу, — ответила мать. — А то тебя перестрелять будут. Беги.

Мать свернула с улицы к выгону и ускорила шаг. Отойдя, она обернулась. И снова, как в тот, первый миг, когда увидела нынче сына, сердце у нее заколотилось и кровь ударила в лицо. И ноги сами собой, легко понесли вперед и вперед, по-молодому нагоняя ушедших баб.

Хурдин же попал в тенеты долгой беседы. Дед Архип новых людей любил. Для начала разговора он о здоровье справился, о семье, полюбопытствовал, вправду ли Хурдин за границей жил и так далеко. Поудивлялся, а потом вспомнил: — Ныне такое вывелось, а раньше деды сберутся: твой дед, Афанас Чигаров, Халамея отец, Митрофан Сальников, сберутся на улице деды, на колодке, и брешут. Круг них ребятишки ухи развесят. И был такой дед Хомич из Юданов. Он букву «р» не выговаривал. Как сейчас помню, разгладит бороду и начнет: «В Амелике воевал, во Фланции воевал, в Гелмании воевал... Чисточко везде... Лучше нас живут...» А вполне возможно, и не брехал он? Казаков везде пхали. Мог и в Америку попасть, вполне возможно. Как считаешь? Ведь казаки в те времена... Архиповым речам не было конца. Скучал он подле суровой бабки своей и теперь новости хуторские выкладывал за много лет.

И Хурдину было хорошо. Сам он был не больно речист. А вот стоять, покуривать, слушать посреди родного хутора, возле дома, после долгой разлуки... День был ясный, с сухим солнечным жаром, с горячим ветром. С отвычки, ветер был удивительно пахуч: сладкий и терпкий дух приносил он с полей, дух зеленой пшеницы и сроду не кошенной целины.

— С женой не развелся? — спросил Архип.

— Не-ет, — удивленно ответил Хурдин.

— Видишь, какой ты, одна жена — и навек. А у нас Юрка Силяев шестую привез. Не хочешь?

И шел рассказ о Юрке Силяеве. На хуторе было тихо. В жарком полудне дремали дома, смежив ставнями очи. Высоко над головой, где-то в синей глубине, слышался перезвон щуров, золотистых, невидимых в золотом же солнечном свете. Дребезжа подкрылками, прокатил мимо мальчуган на старом велосипеде, поздоровался. Позади велосипеда катилась тележка с зеленым сеном. Мальчик крутил педалями и урчал негромко, изображая работу мотора. Перед невысоким бугром он замедлил ход, тем же урчаньем изобразил переключение передачи на низшую и медленнее пошел в гору. Хурдин улыбнулся.

Несколько минут спустя мальчик появился вновь, теперь уже с пустыми ведрами, которые позванивали в такт велосипедному бегу. Возле колонки, рядом с Архипом и Хурдиным, мальчик остановился, голосом передав еще мгновение работающий и затем смолкший двигатель. Он вновь поздоровался и, сняв с руля ведра, начал набирать их. Двухколесный конь его отдыхал, лежа на боку. Хурдин глядел на мальчика и ждал: что же будет делать он с полными ведрами да еще велосипедом. Велосипед был небольшой, подростковый, а парнишка и вовсе невеликий, лет десяти. В стареньком спортивном костюмчике, в кепочке с синим козырьком, тонкорукий и смуглый, он тоже поглядывал на Хурдина, но коротко, словно невзначай. И так хорош был этот любопытный и диковатый мальчишеский взгляд, что Хурдин улыбнулся. Мальчик опустил глаза. Ведра были полны. Расставив их на земле друг против друга, парнишка велосипед меж ними провел и, ловко подняв, подвесил ведра на рогульки руля. И, не забыв натужным урчаньем завести мотор, тронулся с места. Он покатил, а ведра покойно висели на руле, не качаясь.

— Ловко...— вслух удивился Хурдин.
— Чего? — не понял Архип.
— Воду везет.
— А-а, Сережка... это парень еще тот. Он и спит с этим велосипедом в обнимку.
— Чей он? — спросил Хурдин, ожидая услышать знакомую фамилию.
— Не наши, приبلудные. Переселенцы. Отец у него сидит. Мать с четырьмя осталась. А вот Райка Кривошеина летось чего отчудила. Муж ее пил... Хурдин проводил глазами мальчика. Тот неподалеку жил, в единственном на весь хутор казенном доме.

Когда-то поставили щитовой домик для детского сада. Всех детишек туда записали, навезли харчей, воспитательниц наняли, заведующую, поваров. Открывали садик торжественно. А хуторская малышня, отзавтракав в новом доме, разбежалась. И никакими силами нельзя их было удержать. Да и как втолковать хуторской ребятне, справедливо считавшей всю округу родным своим домом, чем привлечь их к четырем дощатым стенам да тесному дворику? Не было такой узды. И, неделю промучившись, детский садик благополучно закрыли. А в щитовом домике время от времени стал проживать всякий приبلудный люд.

Речам деда Архипа дала укорот бабка. Не выходя из ворот, она спросила:
— Я воды ныне дождуся, цимбала моя медовучая?
Дед Архип, ведра ухватив, затрусил домой. Хурдин пошел к магазину и клубу. Отсюда, со взгорья, хутор был виден весь. Три десятка домов его лежали почти кольцом, повторяя прихотливый изгиб речки Ворчунки. К воде спускались огороды, сады, дома поднимались выше, а на самом взлобье стояли вразброс магазин и клуб, колхозная контора, амбар и кузня, круглый дом бывшей школы. Вечные седые вербы дремали над речкой, затеняя своей куделью воду. Сизая полынь на бугре в жарком полудне источала душную горечь. И тихо было на хуторе, так тихо, что невольно искал глаз живую душу: человека, скотину или птицу. Искал и находил: телята паслись там и здесь, меж дворов; за речкою, в теплом ерике, белели гусиные стада; оттуда же, от летнего стойла, шли бабы с сияющими в солнце подоюниками.

Хурдин купил водки, дождался мать.
— От Архипа ослобонился? — с усмешкой спросила она.
— Он мне рассказал...
Домой шли не напрямиком, а улицей, мимо дворов, любой из которых вроде еще недавно был своим — родня здесь жила и друзья-товарищи — все знакомые. А теперь вот...
— Зрянины? Живут старики... Макарьевна одна осталась,— рассказывала мать. — Виктор Тарасов на станции, Настя в городе. Казалось, еще вчера все здесь было свое: просторные базы на подворье Тарасовых, где в

кулюкалки так хорошо играть; веселый дом Калимановых, там путали своих ребятишек и чужих; щедрый сад Чигаров, откуда детвора не выводилась; теплые воды Холюшиного плеса; сеновал Кривошеевых, где допоздна слушали сказки и басни всякие про чертей и ведьм — так, что боялись уходить и иногда засыпали там. Весь хутор был родным гнездом. А теперь?.. Как запустел он... Старая кровь текла в его жилах, утишая и утишая бег.

— А здесь пришлое? — спросил Хурдин, указывая на дом, куда мальчик заезжал на велосипеде.

— Здесь беда живет,— ответила мать.

— Какая беда?

— Горькая...— вздохнула она.

Оно и видно было, что в доме не великая радость кукует: пустой двор, газетами закрытые окна,

копешка сенца.
— Переселенцы,— сказала мать.— Летось приехали. Детей четверо, мал мала. Сережке, старшему, десять или одиннадцать. А отец пьет. Вроде и дельце у него неплохое в руках: кузнец и на комбайне, а записался, земли и неба не чуёт. С зерном попался — и посадили его, там и лечат. Уж чего будет... А баба осталась. Малые двойнята у нее болеют, все в больнице лежат. Дома Сережка хозяйнует с девочкой. Девочка такая хорошая, кудрявенькая, три годика, теперь вот месяц без матери живут.
— Одни? — изумился Хурдин.

— Одни,— подтвердила мать.— Сережка, он неплохой. За девочкой доглядает, стирает на нее и себя. Газ у них есть, варит. Во дворе на веревке сушилось какое-то цветное тряпье. Двери хаты были отворены, а ничего не видно.

— Зимой матери не было, сам управлял, печку топил. Хороший мальчишка... Хурдин с недоумением глядел на мать: правду ли говорит она, да еще так спокойно.

— Десятилетний мальчик один? Да еще девочка? — переспросил он.

— Не знаю, сколь ему. В какую он группу ходит. А мальчик неглупой. Козы у них, сено, гляжу, косит и возит. Косёнку ему отбили. К велосипеду тележку он приспособил, сам. возит

помаленьку сенцо, молодец.
И, словно подтверждая ее слова, выехал из двора мальчик на велосипеде, тележка погромыхивала сзади, а в ней — коса. Тележка погромыхивала голыми железными ободьями, а мальчик, заглушая ее громыханье, порывивал, изображая голос мотора, и переключал рукою невидимую скорость. Переключил, нажал на педали и покатил. До самого дома Хурдин молчал. На базу мать принялась молоко цедить, а Хурдин закурил,

уселся на лавку, в тени.

— Ты бы погодил чадить-то, я тебе парного волью.

— А? — не понял ее Хурдин.

— Молочка, говорю, волью, попей.

— Спасибо.

Хурдин принял от матери кружку молока и поднес ее к губам — и вдруг отставил.
— Мама, — сказал он.— А почему их не заберут, ребятишек? В детдом бы забрали, что ли?

— Откуда я знаю?..

— Ну, вы бы заявили... Управляющий позвонил... И заберут их.

— Не удумай. Этот черт зевлоротый нас тогда спалит.

— Какой черт?

— Да отец ихний. Придет и спалит,— убежденно сказала мать.— Это такой, от черта отрывок. Лучше их не трогать. Ты гляди не удумай. Да они ничего,— успокоила сына мать.— Сережка, он неглупой, он все может. И люди им приносят, кто шей, кто молочка.

Надысь посылку они получали, бабка прислала.

— У них бабка есть?

— Значит, есть.

— А чего же она глядит? Взяла бы...

— Кто ее видал, эту бабу? Может, она еще хуже живет.

Хурдин выпил молоко, не почуяв вкуса его.

— Сладкое? — спросила мать.

— Сладкое, — послушно повторил Хурдин.

— Хорошая коровка, нечего сказать. Конечно, молодая, первым телком, а молочко... Мать говорила что-то еще, но Хурдин ее не слышал: мальчик стоял перед глазами. Хурдин пытался вспомнить черты его лица, но они смывались. И виделся лишь мальчишка на велосипеде. Синий бумажный костюмчик, кепочка с целлулоидным козырьком, тонкие руки на руле.

— Ты меня и не слушаешь?! — вернул его к яви оклик матери. — Либо уснул?

— Нет-нет, я слушаю.

— Шурку, говорю, на стойле видала и Лексевну. Петрову дочку, куму Василису — всем переказывала тебя проведать прийти. Мишки Харитонova жена тоже спрашивала. В кухне истоплю тебе побаниться с дороги. А я петушков зарублю. Как же, люди придут... Вечером, готовясь встретить гостей, Хурдин переоделся и вышел из дома в сером костюме, при галстукe. Мать в первый миг обмерла, а потом заплакала. Она кинулась к сыну, но обнять его не посмела, и вернулась к столу, и, опершись на руку, стала глядеть и плакать с открытыми глазами, и причитать:

— Да какой ты у меня хороший... Неужто я тебя родила да вскормила. Отец бы поглядел... Не привел господь...

В хорошем костюме, при галстукe, Хурдин и впрямь был чужим на подворье, словно из другой жизни, из телевизора вышел.

И родня и гости, что пришли на Хурдина посмотреть, чувствовали себя неловко, церемонились, беспрестанно извиняясь. Осторожно расспрашивали о заграничье, о видах на войну. Бабы, потаясь, шпыняли мужиков, не давая им выпить. Тем более что хозяин водки не пил.

Посидели и разошлись. Мать убирала со стола. Хурдин на крыльце курил и глядел на остывающее небо. А хутор уже засыпал. Гасли огни.. Но в доме переселенцев, так хорошо видимом отсюда, с крыльца, горел свет. Хурдин смотрел туда и думал о мальчике. Чем он занят сейчас, в эту пору? Почему не спит? Собственное детство Хурдина уплыло далеко; малые годы сыновей стояли рядом, но неприложимы были они к теперешним дням мальчика, не могли помочь. И Хурдин глядел на лучистые окна домика и мог представить себе лишь телевизор да поздний ужин. И все.

Мать на кухне убралась, и пошли в дом. На воле комары одолевали, да и пора было спать. От горницы, от парадной кровати Хурдин наотрез отказался.

— Стели в боковушке, — сказал он. — Что я, гость?..

— А кто же?.. Да какой дорогой... — проговорила мать, но сына послушалась.

Хурдин включил телевизор, непривычно малый, с крошечным экраном. Ложились спать. Хурдин подошел к окну и поглядел в темноту. Весь хутор уже уснул, но дом переселенцев по-прежнему светил в ночи желтыми окнами.

— Мама? — спросил Хурдин. — А чего они не спят? Мальчишка этот, без матери?

— Переселенцы, что ль? Не знаю. Кажденно свет жгут.

— Может, чего случилось у них?

— Да чего случится! Сережка, он... — мать не договорила и зевнула сладко. — Ныне лишь до подушки — и в сон покачуся. Сердце на покое. Ложись, сынок.

Мать легла, но, против обещания, не сразу заснула. Она полежала, вспомнила и через тьму двух комнат громко сказала:

— А мы, сынок, Витю похоронили... Здесь, у нас.

— Какого Витю?

— Твоего дружка. Такой хороший похорон был. Музыку привезли. А почему его не в

городе схоронили? Либо они с женой не жили?
До Хурдина доходило медленно. Медленно, но неотвратно.
— Какой Витя? Ты что, мама? — пытался сопротивляться он.
— Ну, какой... — еще не понимая, легко ответила мать. — Твой дружок.
— Виктор?!

Хурдин встал и пошел в комнату матери. И она навстречу ему поднялась и свет зажгла, все поняв.

— Виктор умер? Когда?
— Тот год еще. А тебе не передали? Какая беда... и я, на ночь глядя... — Но, понимая, что теперь таить уже нечего, мать рассказала все. — Он далеко погиб. Издали его везли, в железном гробу. И никому не показали. Жена тоже хоронила, с сыном. А вот почему не возля себя, а здесь? Видать, они не жили, сынок. Такая беда. Боле десяти человек разом побилось. Вот и я всегда горюю, летаешь ты на этих самолетах, не дай бог. Конь о четырех ногах и тот... А тамotka... — поглядела мать вверх. — Как вы не боитесь? А Витю...

С Виктором Хурдин учился. Сначала в Вихляевке, потом на центральную усадьбу вместе ездили. И уже смальства вместе начали думать они о будущем. Виктор хотел стать летчиком, а Хурдин — инженером. Так и остались они каждый в своей вере: после школы Виктор поступил в летное училище, Хурдин — в институт. С той поры дороги их нечасто скрещивались. Но все же видеться случалось, особенно в последние годы, когда Виктор стал испытателем. И каждая встреча была такой радостью: говорили и наговориться не могли, вспоминали, на будущее загадывали. Но последняя встреча была иной. Три года назад, как раз перед самым отъездом Хурдина за границу, Виктор прилетел в Москву. И сейчас так отчетливо помнилась эта встреча. Особенно в ночи, в тишине. Мать давно уснула.

И тогда была ночь. Вечером при жене и детях говорили о другом. А потом одни за шахматами сидели, и возник этот разговор. Виктор как раз вернулся от матери, почти месяц у нее прожил и теперь нет-нет да и объявлял какие-либо новости.

— Камагорова встретил, — сказал он. — Помнишь?
— А как же... Лесотехнический он кончал?
— Да. Вот наворачал мужик!
— Чего? Натворил что-нибудь?

— Нет, я о хорошем. Поговорили, он рассказал, да и я сам потом глядел. Решил он все пески, что от Ильменя идут, от Вихляевки, все пески сосной засадить. Хурдин даже присвистнул.

— Ну и ну...
— Вот тебе и ну. Ты там давно бывал?
— Давно.

— А вот поедешь, погляди. Там уже больше половины засажено. От Ильменя до Летника сосна стоит. Трехметровая. Лес. Маслята растут, да много.

— Вот тебе и Камагор, — удивляясь, сказал Хурдин. — А мы смеялись: лесник... В те, далекие теперь, школьные годы над Камагором смеялись. Тогда все десятиклассники техникой бредили, авиацией, заводами, ну, педагогический девочкам прощали, медицинский или сельхоз, кому по душе. Но лесной...

— Смеялись, смеялись... и досмеялись, — вздохнул Виктор, оставляя шахматы: партия была закончена. — Досмеялись.

Какая-то горечь была в его голосе, и Хурдин спросил:
— Ты чего?

— Да так... Просто подумалось. Послухай, дружба, — присел он возле Хурдина и положил ему руку на плечо. — А не проиграли мы свою жизнь, а? Ты только не полохайся. Я это,

может, в шутку. А может, всерьез,— добавил он. Почему проиграли? Ты о чем, парень? Виктор подумал, хмыкнул, потом сказал: — Да я тут кое о чем все размышляю. И неутешительные итоги, знаешь ли. Камагор лес посадил, помог ему вырасти. На голых песках, какие хутор засыпали. Теперь там лес, грибы. И тут любого спроси, от черта до бога — всяк скажет: хорошо. И что главное, и самое завидное, что Камагорову самому нравилось этот лес сажать, глядеть за ним, растить. А мы с тобой в технику играемся. — Как это играемся? — не понял Хурдин. — Да очень просто. Нам ведь уже по сорок. Юный оптимизм испарился. И что-то сдается мне, что вся наша так называемая работа — пустая игра,— хохотнул Виктор, глядя на изумленного Хурдина.— Ведь сколько бы мы с тобой ни пыжились, ты в своем деле, я в — авиации, а получают лишь громоздкие коробки с грохотом и вонью. Да и не могло быть по-иному. Ты же не самонадеянный хлыщ, подумай: природа — тысячи лет ее трудов, миллионы. А тут выскочил некто, я или ты, и решил все по-другому устроить. Устроил... Летаем. Грохочем. Воняем. А рядом — стрекоза, — легко повел рукою Виктор. — И муха. Я, знаешь, муху люблю за посадку. А оса? Чудо. Коршун. Сорока. Какой прекрасный лёт. А все наши поделки — глупость. Хурдин глядел на Виктора, слушал, понимая, что это не шутка. Товарищ его не болтал пустого.

— Конечно,— согласился Хурдин.— Ты прав. Но мы же не обольщаемся. Мы это понимаем. И в этом залог нашего движенья. Ты сравни, как далеки хотя бы ваши машины от первых. Конечно, это не середина, но... — Боже! — перебил его Виктор.— Какая самонадеянность. О какой середине речь! Мы в миллиметре от начала пути, а впереди бесконечность. И бесконечность, незримо для нас летящая вперед. Ведь человек — брат птицы и насекомого. На каплю мудрее, но бесконечно самонадеяннее. Но то, что природа создает лишь дыханьем, естественно, человек лепит огромным трудом. Он землю уродует, тратит столько сил, а для чего? Машины, машины... А где им предел? Где разумный предел? Пока на земле места хватит? Пока в небе места хватит? А не в беличьем ли мы колесе? Может, мы уже сейчас не для людей стараемся, а для машин? Это им нужна новая и новая нефть, металл, уголь. Все больше и больше, а человеку что... Человеку, в общем-то, нужен кусок хлеба и кружка воды. Остальное — лишнее. Хлеб и вода. Вот он и живет. И душу живу. И мудрость, чтобы понять: не обжираться и не опиваться он приходит на землю, не собирать побрякушки. Но жить. Единственный раз. На прекрасной земле, устроенной чудно: с зеленым лесом и травой, с синей водой и небом, с людьми-братьями, дорогими, любимыми. И вся мудрость мира, все лучшие люди его из века в век твердят: живите проще. Высшая мудрость в том, чтобы не мудрить. Главное вам дано — жизнь. Иначе собой будете обмануты. В мире бе и мира не позна — это о нас, дружба...

— Но ведь ты мечтал с детства об этом,— сказал Хурдин. — Ты стремился к этому. К авиации, к самолетам.

— Не попрекай меня детскими глупостями. Мы же стали, черт возьми, мудрее или нет? Я вот о наших матерях думаю,— заговорил он спокойнее,— об отцах, обо всех хуторских. Нужны ли им наши игрушки-самолетики? А ведь делаются они их потом и кровью. Мы на их шее сидим, их не спрося, что-то мастерим. А ведь матери моей не нужны самолеты, они ей ни к чему. И твоей тоже. Всему нашему хутору будет спокойнее, если они не будут гудеть в небе. Так ведь?

— Ну, почему?.. — ответил Хурдин. — И там нужна авиация. Полететь куда-нибудь. — Никуда они не летали и не полетят. Это мадама моя летает на субботу-воскресенье в Самарканд. Или на море. А для всех, и для самих мадамов тоже, будет лучше, если они дома посидят.

Спорить с Виктором Хурдин не хотел, он видел, что товарищ его встревожен и болен

душой, и нужно было хоть чем-нибудь да успокоить его, и потому он сказал: — Предположим, ты прав. Но взгляни по-иному. Вся наша работа — это наш хлеб. Хлеб насущный. Без него не прожить ни нам, ни детям. Так же как отцы и матери, зарабатываем мы свой хлеб, но иным трудом. Виктор улыбнулся и помахал рукой. — Нет, не на хлеб мы работаем. Матери наши на честный хлеб, а мы — на дьявола. Разве мебельные гарнитуры, японские — это хлеб? А немецкие ванны? Столовое серебро, золотые побрякушки? Да и даже в еде: паштеты, оливки, дурь всякая — какой уж там хлеб... И наша работа тоже. Если завтра по волшебству исчезнут все наши самолеты, мир остановится? Нет. Поохают и забудут. Единственная беда: мадама моя в Испанию не улетит. У нее путевка. А представь, что завтра наши мамки не станут свою работу делать. Уж тут, без их хлеба, мир взвзывает, а потом помрет. Значит, там — хлеб насущный, а у нас — баловство.

Виктор подошел к Хурдину, положил руки ему на плечи и пристально поглядел в глаза. — Боже мой, дружба... На что мы жизнь свою тратим, что мы с ней делаем... Ведь ее больше не будет. А мы ее — впустую. Я пробыл пятнадцать дней дома. И это равно пятнадцати годам жизни. Да, да... Долгие дни, мудрые, счастливые. Пойти на Вихляевскую гору и сидеть, глядеть, думать. Как травы растут. Как облака плывут. Как живет озеро. Вот она, жизнь человеческая. Работать в огороде, плетень плести во дворе. И жить. Слушать ласточек, ветер. Солнце для тебя встает, роса падает, дождь — все доброе, сладкое. Зарабатывать на хлеб чем-нибудь и жить. Жить долго и мудро, чтобы потом, на самом краю, не проклинать себя, не скрипеть зубами. Второй жизни не дано, и об этом жалеть — пустое. Но упустить свою единственную... Какая беда. Просидели с Виктором далеко за полночь. А утром нужно было расставаться. Хурдин все дела бросил и поехал провожать. О ночном больше не говорили, но, конечно, думали, временами пытливо вглядываясь друг другу в глаза. И уже на аэродроме Хурдин спросил, называя Виктора их любимым словом: — Послушай, дружба, это все у тебя серьезно? — Да, — ответил Виктор. — И надо бы уже сейчас все бросить и уйти. Но я слаб. Одно да другое. Все, конечно, глупости: всякие цели, выслуги, пенсии. А давай вместе, — вдруг заговорил он, — давай бросим все. Зачем ты едешь туда? Целых три года. Что тебе это даст? Ну, «Волгу» привезешь, японской аппаратуры натащишь, тряпья, денег. Зачем это? Давай все бросим и уедем домой. Будем работать, к Камагору в помощники пойдем или еще чего. Будем жить, построим дома, семьи приедут. И попробуем сочинить что-нибудь. От этого ведь не уйдешь, привыкли. Но что-нибудь вроде велосипеда. Велосипед — это так естественно и прекрасно. Я преклоняюсь перед ним. Давай, дружба... Хурдин опустил глаза, и Виктор все понял, потух. А на прощанье сказал: — Запомни: ровно через три года я уйду. Я тебе говорю это точно. Уйду, уеду на хутор и буду там жить. Насовсем. Сколько не дождался он месяцев или дней? Разговор был осенью, под зиму. А погиб в августе, считай, за месяц до срока, который назначил себе. Потом, позднее Хурдин не единожды возвращался к ночному разговору. И корил себя за телефонный звонок и беседу с женой Виктора. Это случилось в день проводов, вечером. Хурдин неспокоен был и позвонил Виктору домой, жене. — Он сходит с ума, — ответила жена. — Его лечить надо. Дурь всякую собирает. Старик какой-то к нему ходит, сумасшедший. Она говорила зло и много. Не надо было звонить и с ней разговаривать, потому что она, видимо, все выложила Виктору. И неизвестно как. Из-за границы Хурдин дважды писал другу, но не получил ответа. А теперь вот смерть. И отчетливо вспомнилась мысль, которую Виктор повторил дважды: — Сейчас я смотрю на жизнь и спрашиваю: где я был счастлив? И твердо знаю: дома. Помнишь, когда мы ездили из школы на велосипедах. Утром всегда спешили, а потом,

когда уж домой, ехали свободные. То низом, Тубой, а еще лучше — горою. Что осенью, что весной — как хорошо было. Счастливее не было дней. Все остальное, так называемые успехи, все это пустое. А вот тогда... И теперь, в ночи, перед глазами Хурдина всплывали картины того далекого бега. От школы — в седла и айда! Наперегонки, в гору, словно в небо. Позади, на земле, оставались Вихляевка, Туба и окрестные хутора, Ильмень — все далекое земное отрывалось. И как-то странно было глядеть на крохотный дом свой за плантацией, за садами. Маковое зерно на огромной земле, под немереным небом. А потом с горы — летом, насколько смелости и духу хватало. Сердце замирало в счастливом задохе. И мчалась навстречу земля. И лица, веселые лица друзей так явственно проступали из тьмы ночи и времени. Пухлощекий Камагор крутил педали дамского, невеста как попавшего на хутор велосипеда. Вася Фалалеев... Румянки на щеках — хоть вырежь. И Витек... Дружба... Цыганок, бровастый и черноглазый. Девки по нему умирали. Витек... Дружба... Как живой!

И возвращение в явь, к ночи и неудобной, с периною, постели было горестным. Раздумья о смерти друга, а потом, так естественно, о смерти вообще и о своей собственной порождали страх. И ни единого звука вокруг, в тиши старого дома, в губительной хуторской тишине. Что-то вовсе жуткое стало мерещиться, и Хурдин поднялся, взял сигареты и пошел на двор. У порога он нарочно долго и шумно искал башмаки. Мать проснулась и спросила:

— Ты, сынок? Зажги свет, не бойсь. Но ему хватило и материнского голоса. Тягостная ночная немота раздалась и отступила. Теперь он был в живом доме, в живом хуторе, на этом свете. Во дворе было звездно, на небе светлей, чем на земле. Но и земная тьма дышала жизнью: кошка подошла неслышно, замурлыкала и стала тереться об ногу. Корова шумно вздыхала. Слышно ворочался на насесте петух, готовясь петь. Ветер с шелестом плутал в листве вязков, и что-то шуршало в старых катухах. А за плетнем, наискосок, поодаль, ярко светил незатворенными окнами дом мальчика. Удивленный Хурдин даже из ворот вышел. В самом деле, не управляющего дом и не чей-то еще, а дом мальчика не спал в ночи, и огонь его был лучист и ярок. Даже дзыбастые мальвы с круглыми цветами видны были в палисаднике. И от земного желтого света веяло таким покоем, что отступила горечь и страх. Закурив, Хурдин стал раздумывать: что же делает мальчик, почему не спит? Он думал разное, и тянуло его пойти и посмотреть. Но он не решился.

Утром Хурдин поднялся поздно. Возле хаты, в тени, мать сидела с платком, вязала, а рядом — соседка Митревна. Выспался Хурдин хорошо, ночные страхи были позади. Смерть Виктора уже приняла душа, словно камень в глубокую воду: упал — шум и волны пошли, но минуло время — и опять все спокойно; камень там, в глубине, он есть, но и только. Такова жизнь.

Но после ночного, сейчас, поутру, Хурдин как-то особенно остро чувствовал жизнь, красоту ее и сладость. Босой он прошел по двору, с удовольствием ощущая мягкость травы гусынки и холодок ее. Воробьи ссорились на вязке, их нехитрую перебранку Хурдин слушал с улыбкой; и на ласточек долго глядел: какой крутой и мягкий вираж они делали, влетая в растворенные двери катуха. Завтрак уже был на столе, а стол возле кухни, на солнышке. В миске салат стоял, словно солнцем зажженный костер из алых помидоров и красного перца; он пылал, и сиял, и плавился в тяжелом блеске горчичного масла. А рядом в тарелку сыпнула мать горку снежной, крупитчатой, в лопинах развара картошки, пар и жар ее притушив укропной невесомой зеленью. Каймак желто светил, плавясь в росяных подтеках тяжелых топленых сливок. Кислое молоко мраморными отвалами дрожало в миске. Хурдин глядел и боялся что-либо тронуть из этого солнцем осиянного, волшебного стола.

— Либо не нравится? — обеспокоилась мать. — Може, колбасы твоей или консервов? Я-
то по-простому думала...
Хурдин успокоил мать, и она вновь уселась рядом с Митревной, принялась за вязанье,
поглядывая на сына.
— Эти консервы, прости господи,— толковала Митревна. — Чего они на них помещонные?
К Раисе приехала, консервы да консервы, живой еды нет. Консервы из банок да суп из
кулечиков. Ширь-пырь — и готово. А желудку оно не отвечает.
— Избаловались,— сказала мать. — И без мяса можно прохарчиться, если по-умному.
Бывало, каши варили. Просяная, и с тыквой да молочком. И пшаничную кутьей варили.
Наполечная с сузьмой. А уж рисовая... Бабка Надюрка, бывало, скажет: рисовую атаманы
да лавошники едят. А молодежь к каше косвенно относится.
— А муку, муки ныне сколь,— встряла Митревна. — Я у Раисы приладилась к духовке да
как зачала кажеденно печь каньши, да вертухи, да резунцов наделаю, лестничков,
пирожков с капустой да картошкой. Ребята набузуются. Пеки, баба, еще...
Сидели соседки рядом, орудовали спицами и говорили. И ласточиный щебет их радовал
слух. Хурдин позавтракал и сидел, слушал и слушал.
— Василий уже звонил,— вспомнила мать. — Чудок не на белой заре. Я корову прогнала,
а Феня летит из конторы, шумит: «По телефону тебя сын требует». Уже знает, что ты
приехал. Пряма касатушка ему донесла. В субботу приедет. А нам с тобой к отцу надо
сходить,— сказала она,— попроведать. Може, и до него весть донесли про сынка. Он
ждет.

*

*

*

Неспешно тянулся день, солнечный, ясный, с таким разлитым в мире покоем, что
Хурдину все время казалось — это сон, забытье. Протарахтят по затравевшей дороге
колеса. Кто там поехал: почтальон Фокич или Иван Кривошеев в бригаду воду повез? —
простучат и стихнут. И снова тишина. Лишь ласточка на лету прощепечет да в займище,
за речкою, прокукует кукушка — и все. И чуял, осязаемо чувствовал Хурдин, как душа
его, словно сосуд опустошенный, пьет и пьет забытый, но сладкий хмель покоя и
благодати.

Собрались на кладбище. Невеликое, уютное, оно лежало среди светлой пшеничной
зелени, за дощатым забором. Яркие ленточки на ветках, новомодные жестяные венки,
столики и лавочки, желтый песок. Даже цыганская могилка была аккуратно прибрана.

Тишина, и покой.
Над отцом мать покричала, поплакала, потом сказала:
— А Витя вон там.

Но Хурдин раньше слов ее углядел памятник, блестящий самолетик над ним и портрет.
Фотокарточка была строгой, при форме, в фуражке, Виктор неласково глядел на мир,
сдвинув разлтые брови. И под суровым взглядом его Хурдин чувствовал себя неуютно.

Мать снова рассказывала о похоронах и плакала.
— Пойдем,— обнял ее за плечи Хурдин. — Пойдем, мама.

Вместе они вышли на дорогу. Хурдин оглянулся. Кладбище осталось там, посреди
хлебной зелени. Высокое солнце стояло над полуденным миром, серебря молодую
пшеницу. Высоко, в спящей солнечной желтизне, звенел жаворонок. А справа, за
темной зеленью сада высилась Вихляевская гора. И, внезапно надумав, Хурдин сказал:

— Ты, мама, иди. А я в сад схожу, посмотрю.
— Сходи, сынок, сходи. Тама смородина. Сладкая...

Изо всех холмов, что лежали окрест,— а называли их уважительно горами: Ярыженская,
Дубовская, Мартыновская,— изо всех выделялась Вихляевская. Могуче вздымалась она
над округою, обрываясь к Ильмень-озеру яром. И с вершины ее далеко было видать.
Родина... Вдали от нее каждый помнит клочок земли, с детства прикипевший к сердцу.

Там небо просторней и голубей, там солнце глядит ласковым материнским оком, там ветер — прикрой глаза — снова унесет тебя в далекую, невозвратную пору. Для Хурдина такую землею была Вихляевская гора. Много с ней виделось, еще больше вспоминалось.

И Виктор любил ее. Сегодня, поднявшись на вершину, Хурдин стал думать о покойном товарище. Где он сидел в последний раз? На маковке? Или поближе к яру, откуда так озеро хорошо видеть? О чем думал?

Над Вихляевской горою всегда, даже в самую покойную пору, понизывал свежий ветер. И это высокое, уже небесное дыхание, и замерший на полмира простор завораживали. И словно иное, вечное время считало шаги. И светлые, щемящие печалью, но светлые мысли томили душу.

Когда-то здесь, на Вихляевской горе, мальчишками мечтали они с Виктором о небе, завидуя птицам. Глядели, как коршун свободно плавает в небесной выси, уходя и утопая в ее глуби. Не жаворонку завидовали, не ласточке — быстрым, но малым птахам, — а тяжелому коршуну. Казалось, могучим крылам его под силу вознести мальчишечью плоть туда, в небеса. Мечталось и снилось... Покойный лёт — грудью на ветер, — и омывают тебя воздушные струи и солнце, и безмолвно плывет внизу земля; замереть и парить золотую пушинкою, лишь кровь свою чуя да гулкое от счастья сердце. Мечтали, и многое будто сложилось. И Виктор летал. Но как? Ревущий мотор и железо. Не полет, а движение, наперекор и во зло земному велению. Конечно, иное грезилось. И прав был Виктор: не более чем игрушка все их дела. А жизнь? Сколько золотых дней уплыло, И вот уже нужно считать остатние. Уходят товарищи, уходят и зовут. И прав, наверное, Виктор: все золото дней истрачено зазря. И те, что впереди, — не слаже. Как льстили ему в Москве слова министра: «Ваш новый опыт... ваша энергия... воплотятся и помогут... многого ждем...» — льстили и обещали многое. Теперь же Хурдин с тоскою понимал, что ожидает его лишь новый, необмятый хомут. Дерзкая мысль, подсказанная Виктором: все бросить и уйти, мелькнула в голове. Вспыхнула и сразу погасла. Хурдин знал, что никогда не сможет уйти. Его не поняли бы ни жена, ни дети, ни товарищи, ни родная мать. А сеть человеческая с ее теплыми узами была необходима для Хурдина.

Внизу, под горой, к Вихляевке катила повозка с бочкою. Легкой рысью спешили кони, возница развалился на передке. И, провожая его взглядом, Хурдин почувствовал зависть. Вот так бы ему все долгое лето катить на повозке полями. Катить и катить по нескончаемому лету.

Он проводил глазами повозку, поднялся и побрел под гору, к садам и хутору. К смородине он все же свернул и пошел от куста к кусту, от сладкой ягоды к той, что еще слаже.

В одной из прогалин наткнулся Хурдин на велосипед с тележкой. Это был велосипед мальчика. Хурдин огляделся, прислушался и пошел на звук. Мальчик косил. Полоска, что лежала меж придорожными березами и смородиной, заросла травой. Косилось нелегко. Тяжеловата была косенка, хоть и малая, и вязовое косье не охватывала рука. И потому мальчик тянул косу резко, ударом, так что качалась голова на темном стебельке шеи. Трава была жилистой — перестой.

Хурдин решил помочь. Он подошел сзади и сказал: Здравствуй, работник. Как дела?

Мальчик обернулся, в темных глазах мелькнул испуг. — Да ничего... — ответил он, опуская взгляд.

— Для коровы?

— Козам, — ответил мальчик.

— Мать велела тебе косить?

Чего велеть, я и сам неглупой, — ответил мальчик сдержанно, но с досадою. Хурдин это понял.

крикнула ему:
— Сережа! Ты ныне собирался жуков морить?!
— Поеду,— ответил мальчик.
— Дядю с собой возьми. Подкажешь ему! Хлорофос у нас есть! А ты ему подкажешь, он не может!
— Ладно,— отозвался мальчик. — Заеду.
— Он заедет за тобой,— передала мать Хурдину, словно тот не рядом сидел. — Заедет и тебе поможет. Надо картошку спасать.
Мать ушла на работу, и скоро на улице послышалось велосипедное звяканье и дребезжанье. И голос мальчика позвал:
— Дядя, поехали!
Хурдин взял велосипед и вышел за двор. Мальчик ожидал его не один: в тележке, прицепленной к велосипеду, сидела девочка, обняв руками цинковое ведро.
— Помощница? — спросил Хурдин.
— Помогать Сеёже, помогать буду,— быстро и довольно понятно выговорила девочка.
— Орет. Не хочет одна,— объяснил мальчик.
— Помогать буду. Лена будет помогать.
Она удобно сидела на старой телогрейке, обняв руками ведро, и езды не боялась. Проехали хутор и солонцовую пустошь, где телята паслись.
— Маенькие тейта! — оборачиваясь к Хурдину, закричала девочка.
— Маенькие гусята! — обрадованно возвестила она, когда проезжали плотину и пруд с птицей.
У садов, огороженных не столько плетнями, сколь завалами сухих веток, у перелазы спешили. На земле девочка оказалась совсем крошечной, в длинном бордовом платье.
— Ты сними с нее, а то жарко,— предложил Хурдин.
— Да, снимешь... — усмехнулся мальчик.
— Касивое паатье... Касивое... — горделиво сказала девочка, поняв, о чем речь. — Мое...
— Очень красивое,— подтвердил Хурдин, пересеживая ее через ограду, в сад. Эти сады лишь по старой памяти назывались садами. Вербы тут росли, тополя, огороды сажали, косили сено. Хурдин свой огород угадал. Картошка на нем стояла в колено. И на сочных листьях ее, там и здесь, гнездились полосатые колорадские жуки, а уж личинок была и вовсе пропасть.
— Сейчас я с Ленкой... Пусть она поливает,— сказал мальчик.
— Поивать буду,— подтвердила сестренка, горделиво задирая нос. — Мой капуста... Мой люк,— и заспешила за братом.
В малую «копанку» возле берега мальчик налил воды, вручил сестре игрушечное ведерко и наказал:
— Гляди в речку не лезь. Там глубоко...
— Губо-око... — покашываясь на воду, подтвердила девочка. — Поивать буду. Мой капуста. Мой люк.
— Да, поливай. Молодец.
Зачерпнув из «копанки», девочка заспешила к огороду, косолапенькая, в длинном, тяжелом платье.
Хурдин с мальчиком развели хлорофос и, помахивая вениками, принялись кропить картофельные кусты пахучей отравой. А девочка топотила по дорожке, от «копанки» к огороду, подавая о себе весть:
— Поиваю! Мой капуста!
— Молодец! Хорошо Лена поливает,— усердно хвалил ее мальчик. — Хозяйка!
— Хозяка! — звенел в ответ веселый голосок.
— Хозяйка, хозяйка!
Хурдину картофельные кусты были в колено. Он кропил их не спеша, курил, стараясь дымом перебить хлорофосовую вонь, порою останавливался, поглядывая вокруг.

Огородные деляны лежали вправо и влево.
— Чья это? — спросил он, указывая на сорный, бурьяном поросший участок.
— Фалалеевых,— ответил мальчик и добавил осуждающе: — Будут жалиться: семена плохие, не уродилась.
— А помногу накапываете?
— Мы с мамкой в том году тридцать мешков нарыли.
— Хорошо.
От хлорофосового духа начинало подташнивать, и Хурдин, оставив ведро и веник, к берегу пошел, чтобы отдышаться.
Сады и огороды лежали по обе стороны речки. Пруженная и перепруженная, она, считай, не текла. Местами, где еще били со дна ледяные ключи, речка раздвигала камыши омутами с белыми лилиями и кувшинками.
Мальчик подошел незаметно и сел рядом.
Сестренка подле брата пристроилась, расправляя намокший подол.
— Уста-а. Потом снова буду поивать.
— Скупнуться... — сказал мальчик и, быстро сбросив легкую свою одежду, с разбегу кинулся в воду.
— Он па-авать умеет,— горделиво заявила сестренка. — Па-авает.
Мальчик плавал. В желтоватой воде व्यюном вилось тростиночное тело. Ухнул в воду Хурдин. Плеснула на берег волна, и камыши зашуршали. Даже сейчас, за полдень, студеной была вода, и Хурдин быстро полез на берег. За ним и мальчик. И снова принялись они за свое дело. В горячем воздухе, перебивая пресный запах воды и полынного сена, поплыл тяжкий хлорофосовый дух.
Вечером мать Хурдина хвалила:
— Молодец, сынок. Помочь мне оказал. А я выход заработала — може, мне зернца поболе уделят.
Темнело медленно, и вроде менялась погода. В закатной стороне низкие пепельные облака шли на юг, а над ними летучий небесный дым багряными клубами мчался к северу, к северу. А над хутором стояло чистое небо, с ясной вечерней зеленью. Хурдин собирался в гости. Из привезенного, московского, набрал он конфет, печенья, пачку халвы, коробку фломастеров взял, детскую книжку и попросил мать:
— Ты бы собрала чего-нибудь. К мальчику я хочу сходить, к Сереже. Сметаны, что ль, молочка... Вареники там остались, давай отнесу. Только подогреть надо.
— Сами они подогреют, у них газ. А чего ты к ним?
— Да поглядеть. Одни живут... И вы к ним как-то относитесь... Не по-людски.
— А мы чего... Мы ничего...
— Вот то-то и оно, что ничего,— попенял Хурдин сдержанно.
Но мать его поняла.
— Сынок, сынок... Нас самих бы кто пожалел. А уж об них нехай начальство горится.
— Что начальство. Вы бы сами, пока отца-матери нет...
— Такого отца век бы не было. Они хоть вздохнули без него. Пропил их вплоть до подушек. Подушками по хутору торговал.
— И брали?
— Люди на все идут.
— Да... — покачал головой Хурдин.
Гостинцы сложил он в сумку и пошел. Улица хутора была пуста. Хаты светились вечерними огнями. Дом мальчика сиял незатворенными окошками. Хурдин вошел в распахнутые ворота, поднялся на крыльцо, постучал.
— Кто там?! Входите, открыто! — крикнул мальчик и сам выскочил в коридор. — Это вы? — в растерянности замер он в светлом дверном проеме, а затем отступил.— Заходите. Пузатая лампочка сияла под потолком, освещая пустую комнату. Глаза Хурдина, так привыкшие к иному убранству, шарили по голым стенам, словно чего-то искали. Но что

найти он мог?.. Стол да две табуретки, кровать-раскладушка с выгоревшим брезентом.
— В гости к вам решил зайти,— объяснил Хурдии. — Одному скучно, знакомых нет.
— Проходите.
Мальчик был в том же застиранном костюмчике, зато сестренка его разгуливала босая и, считай, голышом.
— Платье с нее еле стянул,— объяснил мальчик. — Постирать.
— Мой платье,— указала сестренка на бордовую свою гордость, что сушилось здесь же.
— Ка-асивое.
Красивое,— подтвердил Хурдин.
Сев посреди комнаты на табурет, он поставил сумку и сказал мальчику:
— Я тут принес... Вареников поешьте. Хорошие.
— Мы ужинали,— ответил мальчик.
— Ну, потом, завтра... — Хурдину было неловко. Он сумку раскрыл. — Тут вот... Тут конфеты, книжку, может, считаешь.
— Ки-ижка? — бросилась девочка к Хурдину и замерла, увидев в руках его красивую книжку с картинкою на обложке. — Мой ки-ижка,— подняла она молящие глаза.
И Хурдин ее успокоил:
— Тебе, тебе.
Девочка, прижав книгу к груди, на мгновение замерла, а потом затоптила вокруг стола:
— Мой ки-ижка, мой.
— Так книжки любит,— оправдал ее брат, провожая взглядом.
Кастрюльку с варениками он убрал за печку, к сладостям отнесся сдержанно, сказав: «Ленка погрызет», на яркую коробку с фломастерами глядел недоуменно, потом спросил:
— Карандаши?
— Фломастеры,— объяснил Хурдин. — Тоже рисовать. Давай бумагу.
И на принесенном листе почиркал фломастером.
Мальчик заметно крепился, но сдержать своего волнения не мог. Он провел синюю линию, а рядом зеленую, потом быстро нарисовал красный трактор и в небе солнце и синие облака. С трудом остановился и глянул на Хурдина с такой откровенной радостью, что Хурдину стало не по себе.
— Здорово! Лучше карандашей,— проговорил мальчик.— Спасибо. Дорогие, наверно.
— Да ничего, что ты... В городе сейчас все такими рисуют.
— У нас нет.
Между тем девочка, положив на кровать книжку, осторожно листала ее, негромко бормоча:
— Ехали медведи, на ве-исипеде. А за ними кот, задом напе-ёт.
— Она что, читает? — удивился Хурдин.
— Да нет, это так. — усмехнулся мальчик.
— Читаю кижку. — Услыхала его сестра. — Мой кижка.
— Читаешь, читаешь, молодец.
Мальчик с фломастерами не мог расстаться, он перебирал их, яркую коробку трогал и говорил:
— Я буду не всегда ими. А когда чего-нибудь хорошее, чего-нибудь главное нарисовать. В школе. А может, и так. Школа ведь не скоро.
Увидев, что мальчик оттаял и уже не дичится его, Хурдин сказал:
— Вы, может, поедите вареники, они еще теплые? Пока свежие, а?
— Поедим,— улыбнулся мальчик. — Ленка! Вареники будем есть?
— Ва-еники будем... — согласно повторила девочка.
— Сейчас разогрею на сковороде.
Оставив фломастеры и бумагу, мальчик метнулся к печке, а потом в коридор, где газовая плита стояла, и через пять минут уже шкворчали на столе вареники, тонущие в масляной и каймачной жиже.

Ели ребята хорошо.
 — Мы кашу все варим,— рассказывал мальчик.
 — Са-адкую,— прижмурилась сестренка.
 — Вареники, конечно, лучше,— похвалил он и, подумав, добавил: — Вот мамка придет, напишет заявление, колхоз нам корову продаст, в рассрочку.
 — А прокормите?
 — Прокормим. Косить еще долго можно, все лето. Будем кормить. Нам молоко нужно,— объяснил он. — Малышам. С молоком они не будут болеть.
 Ребята ели, а Хурдин понемногу оглядывал их жилье. Хотя глядеть было особо не на что. Комната совсем пуста. В кухонке, за печкой, лишь кровать с ватным одеялом да какая-то одежонка на вешалке. Не на что было глядеть. Пододвинув к себе лист бумаги, Хурдин стал рисовать единственное, что умел,— самолеты. Они у него ловко получались. Один, а потом другой. Мальчик взглянул на рисованное и похвалил: — Красиво.
 А потом, убирая со стола, словно ненароком обмолвился: — Я тоже самолет делаю.
 — Самолет? — удивился Хурдин.
 — Ну, не самолет, а такое... Буду летать. Такую штуку я делаю.
 — Какую?
 Хурдину стало любопытно. Что мог придумать этот мальчуган?
 — Вот здесь у меня.
 Мальчик включил свет в кухонке, за печкою. Хурдин пошел туда и тут же посмеялся над собой. Конечно же мальчик ничего не придумал. Это были обычные крылья, большие крылья из белых гусиных перьев. Слажены они были неважно, каркас из велосипедных спиц и сетки. Но, взяв одно крыло в руки, Хурдин понял, какую долгую работу делал мальчик. Каждое перо было подобрано и аккуратно прилажено на свое место тонкими капроновыми нитями. Крылья были готовы. Взмахнув одним из них, Хурдин почувствовал его непрочность. Взяв оба крыла, Хурдин понес их в комнату. Мальчик, следуя за ним, покорно ждал.
 — Я их давно делаю,— сказал он. — Придумал и делаю.
 — А как же ты хочешь полететь? С крыши?
 — Нет, с велосипеда. Я давно придумал. На Вихляевской горе есть такое место. Когда из школы едешь домой, к хутору, там есть такой прыжок. На половине. Там на велосипеде-то подлетаешь,— вскинул мальчик руки,— прямо вверх. А если с крыльями. Разогнаться с самого верха, а на прыжке крылья раскрыть, велосипед бросить и запросто... Глаза мальчика широко раскрылись, и в них было такое ожидание радости, что Хурдин не смог его огорчить.
 — Да, да,— подтвердил он. — Хорошие крылья, должен полететь. Сияющий и такой благодарный взгляд был ему наградой, что Хурдин почувствовал подступающие слезы и опустил глаза. Скрывая волнение, он крылья разложил на столе и стал рассматривать их, прикидывая, стал глядеть и говорить: — Так, так... Вообще-то надо бы увеличить...
 — У меня еще перья есть,— с готовностью ответил мальчик.
 — Это хорошо... Но жесткость надо увеличивать и крепления посерьезней. Иначе...
 — Но я полечу?! — почувствовав недоверие, спросил мальчик, и голос его дрогнул.
 — Полетишь, полетишь,— успокоил его Хурдин, потому что иного говорить было нельзя. Они просидели допоздна, так и эдак прикидывая и соображая. Нужно было каркас изменить, размер крыльев и крепления.
 Хурдин спохватился чуть не в полночь. Девочка уже спала на раскладушке, обняв книжку. Она спала, несмотря на яркий свет, и Хурдин сказал: — Надо бы ее туда перенести, в кухню.
 — Нельзя,— ответил мальчик, — Она боится.

— Чего боится?
— Без света. Папка напугал. Так и жгем всю ночь. От крыльев, от волшебной мечты, от полета одним разом вернулся Хурдин на эту землю. Вернулся и сказать ничего не мог. Лишь вздохнул и безотчетным движением опустил на плечо мальчика руку. Мальчик его ласку принял. И потом, в летней рассеянной тьме, на улице, всласть накурившись после долгого воздержания, и дома, в постели, Хурдин думал и думал о мальчике. О мальчике и о крыльях его. О крыльях и о Викторе. О Викторе и о себе. Мальчик пусть полетит, пусть попробует, раз хочется. Не много у него в жизни радости, пусть будет хоть эта. Упадет — не беда. Но в коротком мгновенье почувствует сладость полета. И это будет надолго, на всю жизнь. Пусть летит. И жаль, что Виктора нет теперь, он бы понял и загорелся, он бы помог. И мальчик бы ему помог. Вернуться в далекое детство, и горечь жизни, усталость ее — всю растопить в капле живой воды, в капле радости, принесенной оттуда. И снова жить. Думалось и о себе. Нынешнем и в далеком детстве. И все виделось, как мчались они наперегонки по Вихляевской горе и вниз. Камагор на дамском своем велосипеде, Витек... и почему-то мальчик, Сережа. Но это уже во сне. С крыльями колдовали день, и другой, и неделю. Мать начала коситься и ворчать. Незаметно подходило время отъезда, а еще не были у сестры, у дядьев. Хурдин увлекся, ездил на центральную усадьбу и даже в райцентр, добывая материалы. Давно уж он не работал с таким азартом. О мальчике что говорить... И наконец все было готово. Вечером Хурдин ушел от Сережи, сговорившись отоспаться как следует, а уж потом ехать на Вихляевскую гору. Он проснулся чуть свет. Мать поднималась корову доить, чем-то гроыхнула, и Хурдин проснулся. Утро было росное. На дворе по седой траве гусынке тянулись темные полосы материнских следов. Солнце еще не поднялось, и алый пожар его полыхал на полнеба. — Поднялся, сынок? — спросила мать. — Иди парного попей. Опорожнив банку теплого пенистого молока, Хурдин решил больше не ложиться. Когда-то еще он поднимется рано, да и поднимется ли? Он вышел на забазье и глядел, как тухнет заря и встает солнце. Как тает золотистый туман над речкою. Мать прогнала в стадо корову и коз. А Хурдин, не дожидаясь завтрака, сел на велосипед и покатыл к Вихляевской горе. «Я быстро», — сказал он матери. Он решил еще раз поглядеть на то место, откуда полетит мальчик. От колхозного сада, вдоль светлой березовой лесополосы Хурдин набирал и набирал скорость, чтобы выскочить на гору повыше. И поднялся почти до «прыжка», до бугра на склоне. И снова убедился, что ничего страшного не случится. Если и упадет мальчик, то в густую пшеницу. А такое ли видала Вихляевская гора. Дорога звала выше, и Хурдин стал подниматься, ведя велосипед, чтобы катануть с маковки во весь дух и лететь потом до самого хутора. Он поднялся наверх, пошел к яру, минуя пшеничное поле, и сел там, на краю. Утро уже набирало силу. На том берегу Ильменя, на птичнике, выпустили кур, и они хлынули белой лавой, затопляя округу. О Викторе, о покойном друге своем вспомнил Хурдин. Вспомнил и поглядел на далекое кладбище. Там, на кладбищенском пятаке, среди пшеничной зелени, что-то вдруг сверкнуло и засияло, словно лучистая звезда. Какая-то жестянка или стекло? А может, это светил самолетик над могилой Виктора? Никелированный самолет? Да, наверное, он. И снова, в который раз уже за эти дни, стало думать о Викторе, о жизни его и о смерти и о собственной жизни — обо всем разом. Клоками наплывало то одно, то другое. И казалось, что прав Виктор, нужно все бросить и уйти, покойно и счастливо доживая свой век на родине. Счастье... Но разве обошло Виктора счастье в молодости и потом? Пусть,

он говорит, призрачное, обманное, но было же. А где истинное? Во вчерашнем дне или в нынешнем? Кто скажет правду? Как жить?.. Отец... Сколько на его долю досталось... И разве сладкого? Оттого и ушел он до срока. И мать всю жизнь враспырку: колхозное надо делать и свое, а руки одни. Ни дня, ни ночи... Высыпались ли когда, даже сейчас? А братья и сестры, тетки, дядя, родня вся, вся округа?.. Так ли сладко у них? Виктор, Виктор... Добрая душа, умная голова... Был бы живой, тогда... И вдруг иное обожгло душу: был бы живой! Был бы жив — вот счастье! — приехал бы с края света, посидели бы вот так на Вихляевской горе и долго помнили. Уехали, а помнили тихий Ильмень, и черную лодку на нем, камыши, займище над речкою, и поля до края, и дорогу в хлебах, что бежит с горы, к садам... Повернув голову вслед за дорогою, Хурдин вдруг увидел мальчика. Да, это был Сережа. Он уже забрался на гору, повернул велосипед и стоял. Хурдин хотел подняться и позвать, но вдруг все понял и замер. Мальчик приехал сюда ранним утром один, потому что не хотел ничьих глаз. Даже Хурдина. Он хотел взлететь или упасть один. А уж потом... Мальчик стоял минуту, другую, поправляя крепления крыльев, потом решительно повернул кепочку козырьком назад и, толкнувшись, помчался вниз. Он катил и катил, набирая скорость. Пригнувшись к рулю, он крутил и крутил педали, убыстряя бег. Он был смелым, этот мальчик. Он мчался с горы, каждую пядь которой Хурдин знал на память. Вот осталось полсотни метров. Вот совсем рядом... Вот прыжок! Два белых крыла, такие ясные на синем утреннем небесном полотне, вдруг раскрылись, словно вспыхнули, за спиной мальчика, и он взлетел. Хурдин зажмурился и почуял, как сердце его замерло в сладком обмороке, а сам он не сидел на твердой земле, а тоже летел над зеленым пшеничным полем, над Вихляевской горою, над Ильменем. А земля медленно и косо разворачивалась под ним зеленым блюдцем и уплывала вниз.